

Александр Степанович Грин

Знаменитая книга



Александр Грин
Знаменитая книга

«Public Domain»

Грин А. С.

Знаменитая книга / А. С. Грин — «Public Domain»,

«Маленькая экспедиция, одна из тех, о которых не принято упоминать в печати, даже провинциальной, делала лесной переход, направляясь к западу. Кем была снаряжена и отправлена экспедиция, – геологическим комитетом, лесным управлением или же частным лицом для одному лишь ему известных целей, – неизвестно. Экспедиция, состоявшая из четырех человек, спешила к узкой, глубокой и быстрой лесной реке. Был конец июля, время, когда бледные, как неспавший больной, ночи севера делаются темнее, погружая леса и землю – от двенадцати до двух – в полную темноту. Четыре человека спешили до наступления ночи попасть к пароходу, – маленькому, буксирующему плоты, судну; речная вода спала, и это был тот самый последний рейс, опоздать к которому равнялось целому месяцу странствования на убогом плоту, простуде и голодовкам. Пароход должен был отвезти одичавших за лето, отрастивших бороды и ногти людей – в большой, промышленный город, где есть мыло, парикмахерские, бани и все необходимое для удовлетворения культурных привычек – второй природы человека. Кроме того, путешественников с весьма понятным нетерпением ждали родственники...»

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Глухая тропа | 5 |
| Человек, который плачет | 9 |
| Четвертый за всех | 12 |
| Она | 18 |
| Зимняя сказка | 25 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 28 |

Александр Грин

Знаменитая книга

Глухая тропа

I

Маленькая экспедиция, одна из тех, о которых не принято упоминать в печати, даже провинциальной, делала лесной переход, направляясь к западу. Кем была снаряжена и отправлена экспедиция, – геологическим комитетом, лесным управлением или же частным лицом для одному лишь ему известных целей, – неизвестно. Экспедиция, состоявшая из четырех человек, спешила к узкой, глубокой и быстрой лесной реке. Был конец июля, время, когда бледные, как неспавший больной, ночи севера делаются темнее, погружая леса и землю – от двенадцати до двух – в полную темноту. Четыре человека спешили до наступления ночи попасть к пароходу, – маленькому, буксирующему плоты, судну; речная вода спала, и это был тот самый последний рейс, опоздать к которому равнялось целому месяцу странствования на убогом плоту, простуде и голодовкам. Пароход должен был отвезти одичавших за лето, отрастивших бороды и ногти людей – в большой, промышленный город, где есть мыло, парикмахерские, бани и все необходимое для удовлетворения культурных привычек – второй природы человека. Кроме того, путешественников с весьма понятным нетерпением ждали родственники.

Лес, – тихий, как все серьезные, большие леса, с нескончаемыми озерами и ручьями, давно уже приучил участников экспедиции к замкнутости и сосредоточенному молчанию. Шли они по узкой, полузаросшей брусничкой и папоротником, тропке, протоптанной линиями глухарями, зайцами и охотниками. По манере нести ружье угадывался, отчасти, характер каждого. Штуцер бельгийской фирмы висел на прочном ремне за спиной Афанасьева, не болтаясь, словно прибитый гвоздями; Благодатский нес винтовку впереди себя, в позе человека, всегда готового выстрелить, – это был самозабвенный охотник и любитель природы; скептик Мордкин тащил шомпольное ружье под мышкой, путаясь стволом в кустарнике; последний из четырех, с особенным, раз навсегда застывшим в лице выражением спохватившегося на полуслове человека, – не давал своему оружию покоя: он то взводил курок, то вновь опускал его, вскидывал ружье на плечо, тащил за ремень, перекаладывал из левой руки в правую и наоборот; звали его Гадаутов. Он шел сзади всех, насвистывал и курил.

Дремучая тропа бросалась из стороны в сторону, местами совершенно исчезая под слоем валежника, огибая поляну или ныряя в непроходимый бурелом, где в крошечных лучистых просветах розовели кисти смородины и пахло грибом. Лиственница, ель, пихта, красные сосны, а в мокрых местах – тальник, – шли грудью навстречу; под ногами, цепляясь за сапоги, вздрагивали и ломались сучья; гнилые пни предательски выдерживали упор ноги и рушились в следующий момент; человек падал.

Когда свечерело и все, основательно избив ноги, почувствовали, что усталость переходит в изнеможение, – впереди, меж тонкими стволами елей, показалась светлая редина; глухой ропот невидимой реки хлынул в сердца приливом бодрости и успокоением. Первым на берег вышел Афанасьев; бросив короткий взгляд вперед себя, как бы закрепляя этим пройденное расстояние, он обернулся и прикрикнул отставшим товарищам:

– Берем влево на пароход!

Все четверо, перед тем как тронуться дальше, остановились на зыбком дерне изрытого корнями обрыва. Струистая, черная от глубины русла и хмурого неба поверхность дикой реки

казалась мглой трещины: гоняясь за мошкаррой, плавали хариусы; тысячетлетняя жуть трущоб покровительственно внимала человеческому дыханию. Ивняк, закрывая отмели, теснился к реке; он напоминал груды зеленых шапок, разбросанных лесовиками в жаркий день. Противоположный, разрушенный водой берег был сплошь усеян подмытыми, падающими, как смятая трава, чахлыми, тонкими стволами.

– Никогда больше не буду курить полукрупку, – сказал Гадаутов. – Сале мезон, апизодон, гвандилье; варварский табак, снадобье дикарей. Дома куплю полфунта за четыре рубля. Барбезон.

Его особенностью была привычка произносить с окончанием на французский лад бессмысленные, выдуманные им самим слова, мешая сюда кое-что из иностранных словарей, засевшее в памяти; вместе это напоминало сонный бред француза в России.

– Прекрасно, – отвечая на свои мысли, сказал Мордкин. – Поживем, увидим.

Постояв, все двинулись берегом. Справа, неожиданно показываясь и так же неожиданно исчезая, прорывался сквозь ветки сумеречный блеск реки; изгибаясь, крутясь, делая петли, тропинка следовала ее течению. Временами на ягольнике, треща жирными крыльями, взлетала тетерка, беспокойно кричали дрозды, затем снова наступала тишина, баюкающая и тревожная. Благодатский увидел белку; она скользила по стволу сосны винтом, показывая одну мордочку. Когда прошел еще один короткий лесной час, и все кругом, затканное дымом сумерек, стало неясным, растворяющимся в преддверии тьмы, и сильнее запела мошкара, и небо опустилось ниже, Афанасьев остановился. Наткнувшись на него, перестали шагать Благодатский, Мордкин и Гадаутов, Афанасьев сказал:

– Мы заблудились.

II

Он сказал это не возвышая и не понижая голоса, коротко, словно отрубил. Тотчас же все и сам он испытали ощущение особого рода – среднее между злобой и головокружением. Конец пути, представляемый до сих пор где-то поблизости, вдруг перестал даже существовать, исчез; отбежал назад, в сторону и исчез. После недолгого молчания Мордкин сказал:

– Так. Излишняя самонадеянность к этому и приводит. Это все левые Афанасьевские тропинки.

– «Левые» тропинки, – возразил Афанасьев, резко поворачиваясь к Мордкину. – открыты не мною. Маршрут записан и вам известен. От Кушельских озер по еженной дороге четыре версты, тропинками же – семь поворотов влево, один направо, и еще один влево, к реке. Чего же вы хотите?

– Это значит, что мы где-то сбились, – авторитетно заявил Благодатский.

– А где же пароход?

– Черт скушал, – сказал Гадаутов. – Может быть, позади, может быть, впереди. Мы шли верно, но где-то один из семи прозевали, пошли прямо. Куда мы пришли? Я не знаю – Пушкин знает! Пойдем, как шли, делать нечего. Нет, погодите, – крикнул он вдруг и покраснел от волнения, – ей-богу, это место я знаю. Ходил в прошлом году с Зайцевым. Видите? Четыре дерева повалились к воде? Видите?

– Да, – сказал хор.

– Карамба. Оппигуа. Недалеко, я вам говорю, недалеко, даже совсем близко. – Уверяя, Гадаутов резко жестикулировал. – Отсюда, прямо, как шли, еще с версту, – не больше. Я помню.

Он выдержал три долгих, рассматривающих его в упор, взгляда и улыбнулся. Он верил себе. Афанасьев покачал головой и пошел быстро, не желая терять времени. Гадаутов шел зади, жадно и цепко осматриваясь. Место это казалось ему одновременно знакомым и чуж-

дым. Глинистая отмель, четыре склоненные к воде дерева... Он рылся в памяти. Миллионное царство лесных примет, разбросанных в дебрях, осадило взвихренную его память ясно увиденными корягами, ямами, плесами, гарями, вырубками, остожьями¹, дуплами: собранные все вместе, в ужасающем изобилии своем, они составили бы новый сплошной лес, полный тревожного однообразия.

Черная вода справа открывалась и отходила, поблескивала и пряталась за хвойной стеной; от ее обрывистых берегов и мрачных стрежей веяло скрытой угрозой. Через несколько минут Гадаутов снова увидел четыре тонкие ели с вывернутыми корнями – двойник оставленной позади приметы. А далее, как бы издеваясь, потянулся берег, сплошь усыпанный буреломом; подкошенные водой и ветром стволы нагибались подобно огромным прутьям, и трудно было отличить в этих местах один аршин берега от соседнего с ним аршина – все было похоже, дико и зелено.

– Куда мы идем? – спросил Мордкин, оборачивая к Гадаутову лицо, вымазанное грязным потом пополам с кровью раздавленных комаров. – Парохода нет и не будет! – Он взмахнул ружьем и едва не швырнул его на землю. – Я ложусь спать и не тронусь с места. Я более не могу идти, у меня одышка! Как хотите...

Излив свое раздражение, он хлопнул рукой по вспухшей от укусов шее и, шатаясь на дрожащих ногах, тихо пошел «перед. Гадаутов, не отвечая Мордкину, исчез где-то в стороне и, наполняя лес медвежьим треском, вернулся к товарищам. Лицо его дышало светлой уверенностью.

– Если бы не моя память, – сказал он, тоскливо чувствуя, что лжет или себе, или другим, – то, клянусь мозолями моих ног, не знаю, что стали бы делать вы. Поперечный корень под моими ногами, выгнутый кренделем, то же, что пароход. Это место я помню. Мы скоро придем.

Искренний его тон смыл расцветающие на бледных лицах кривые улыбки. Ему никто не ответил, никто не усомнился в его словах: верить было необходимо, сомнение не имело смысла. Глухие сумерки подгоняли людей; обваренные распухшие ноги ступали как попало, вихляясь в корнях; угорелые от страха и изнурения, четыре человека шли версту за верстой, не замечая пройденного; каждое усилие тела напоминало о себе отчетливой болью, острой, как тиканье часов в темной комнате.

– Пришли, – сонным голосом произнес Мордкин и отстал, поравнявшись с Гадаутовым. Гадаутов прошел мимо, то, чувствуя на спине тяжесть, отскочил в сторону, а Мордкин скользнул по его плечу и плашмя упал в кусты, согнувшись, как белье на веревке; это был обморок.

– Эй. – сказал Гадаутов, чуть не плача от утомления и испуга, – остановитесь, бараны, потеряем полчаса на медицину и милосердие! Он упал сзади меня. Анафема!

III

Идти за водой не было ни у кого сил. Афанасьев, положив голову Мордкина себе на колени, бесчеловечно тер ему уши; Мордкин вздохнул, сел, помотал головой, всхлипнул нервным смешком, встал и пошел. Через пять шагов Афанасьев схватил его за руку, взял за плечи и повернул в другую сторону. Очнувшись, Мордкин пошел назад.

– Скоро придем, – тихо сказал Гадаутов. – Темно; это пустяки; держись берегом у воды. Вы знаете, чем я руководствуюсь? Рядом стоит двойной пенек, я шел тут в прошлом году.

Все спуталось в его голове. Иногда казалось ему, что он спит и сквозь сон, стравивая оцепенение, узнает места, но тут же гасла слабая вера, и отчаяние зажимало сердце в кулак, наполняя виски шумом торопливого пульса; однообразие вечернего леса давило суровой новизной, чуждой давним воспоминаниям. Время от времени, различив в чаще прихотливый изгиб

¹ Остожье – площадка для стога, скирды, устланная соломой.

дерева или очень глубокую мургу², – он как будто припоминал их, думал о них мучительно, сомневаясь, убеждаясь, воспламеняясь уверенностью и сомневаясь опять. На ходу, задыхаясь и выплевывая лезущих в рот мошек, он устало твердил:

– Как я вам говорил. Вот бревно в иле. Осталось, я думаю, не совсем много. Скоро придем.

Один раз в ответ на это раздался истерический взрыв ругательств. Все шло быстро и молча; срываясь, шаг переходил в бег, и за тем, кто бежал, пускались бежать все, не рассуждая и не останавливаясь. Слепое стремление вперед, как попало и куда попало, было для них единственным, самым надежным шансом. Сознание вытеснялось страхом, воля – инстинктом, мысль – лесом; словесные толчки Гадаутова напоминали удар кнута; смысл его восклицаний отзывался в измученных сердцах таинственным словом: вот-вот, здесь-здесь, сейчас-сейчас, там-там.

Никто не заметил, как и когда исчез свет. Мрак медленно разбил его на ничтожные, слабые клочки, отсветы, иглы лучей, пятна, теплящиеся верхушки деревьев, убивая, одного за другим, светлых солдат Дня. Мгла осела в лесную гладь, спланила в яркую черноту краски и линии, ослепила глаза, гукнула филином и притихла.

Идти так, как шли эти люди дальше, можно только раз в жизни. Разбитый, истерзанный, с пылающей головой и пересохшим горлом, двигался человек о четырех головах, на четвереньках, ползком, срываясь, тыкаясь лицом в жидкую глину берега, прыгая, давя кусты, ломая плечом и грудью невидимые препятствия, человек этот, лишенный человеческих мыслей, притиснутый тоской и отчаянием, тащил свое изодранное тело у самой воды еще около часа. Сонное журчание реки перебил, голос:

– Кажется, сейчас мы будем на месте. Еще немного, еще!

Это сказал Гадаутов, усиливаясь сделать еще шаг. Руки и колени не повиновались ему. Затравленный тьмой, он упал, сунулся подбородком в землю и застонал.

В этот момент, оглушая четырехголового человека потрясающим холодом неожиданности, нечеловеческий, пронзительный вой бросился от земли к небу, рванул тьму, перешел в певучий рев, ухнул долгим эхом и смолк.

Крики с берега, ответившие гудку парохода, превзошли его силой сумасшедшей радости и жутким, хриплым, родственным голосом зверей. Падая на мостки, но пытаясь еще пустить в ход подгибающиеся колени, Гадаутов сказал:

– Я говорил. И никогда не обманываю. Же пруга д'аржан.

² Мурга – провал, яма.

Человек, который плачет

– Не может быть...

– Вы шутите...

– Это арабские сказки.

– Однако это так... Повторяю... мне тридцать пять лет, и я до сих пор не знаю женщины.

Человек, взбудораживший наше мужское общество таким смелым, исключительно редким заявлением, стоял прислонившись к камину и сдержанно улыбался. Голубые, холодные глаза его смотрели без всякого смущения и, казалось, ощупывали каждое недоверчиво и любопытно смеющееся лицо.

Однако солидные манеры этого человека, интеллигентная внешность и спокойная уверенность голоса произвели впечатление, выразившееся в том, что возгласы утихли и в физиономиях отразилось напряженное, тоскливое ожидание целого ряда анекдотов и пикантных повестушек, приличествующих случаю.

После короткой паузы доктор Клушкин, человек очень нервный, очень веселый и очень несчастный в личной жизни, выпрямил скептически поджатые губы, потянул носом и пристально посмотрел на девственника. Тот вежливо улыбнулся и коротко повел широкими плечами, как бы сознавая свою обязанность дать в данном случае надлежащие объяснения.

– Я с большим удовольствием слушал ваш разговор, – сказал этот господин, представленный нам хозяином под фамилией Громова, – и теперь действительно жалею, что молодость моя прошла... сухо. Собственно говоря, к чему бы делать мне такое признание. Но бывают минуты, когда случайные стечения обстоятельств, случайный разговор, анекдот зажигают желания и дразнят тело, наполняя его бессознательным тяготением к этой стороне человеческой жизни, жгучей, таинственной и...

– Да, но позвольте, – сухо перебил доктор, нервно ерзая на стуле и вскидывая пенсне повыше. – Вы говорите, что вы... ну, одним словом... вполне.

– Совершенно.

– И – никогда?

– Всецело.

– Ни-ни..?

– Могу вас уверить в этом.

Доктор вдруг побагровел, прыснул и хихикнул так громко, что сконфузился сам. Снисходительно улыбнулись остальные.

Дело происходило в курительной комнате богатого инженера, после хорошего обеда и основательной выпивки. Дамы перешли в гостиную, а мы, люди тугого кошелька и веселого расположения духа, удалились сюда, отчасти для пищеварения, отчасти для того, чтобы выкурить по сигаре и поболтать, пока не приготовят столы для карт. Надо сказать, что заявление Громова пришлось как нельзя кстати. Запас нескромных анекдотов уже иссякал и теперь явилась большая надежда воскресить угасавшее оживление...

– Скажите... э-э... – спросил доктор, отделившись от душившего его смеха: – вы развиты нормально?

– Да.

– Влюблялись?

– Конечно.

– И...

– Как видите.

Сказав это, Громов отряхнул пепел сигары на каминную решетку и полузакрыв глаза. Доктор встал, шумно отодвинул стул, подошел к Громову и, взяв его двумя пальцами за пуговицу сюртука, сказал печальным подвыпившим голосом:

– Вредно-с. Вы расстраиваете себя, свой организм, губите умственные способности...

Да-с...

– Ну что же, – улыбнулся Громов, – видно уж так мне на роду написано...

– Но, – сказал худой плешивый фельетонист, похожий на картонного Мефистофеля, – но... почему же? Это же странно... Красивый, здоровый человек, умный...

– О, – смутился Громов, и лицо его приняло виноватый оттенок, – дело очень просто...

Я не имею успеха.

– Да, – обрадовался толстый учитель, заикаясь и причмокивая. – Я пп-они-мм-аю вас...

Вв-ы... ззз-астенчивы... а-а... жж-енщины... этт-ого н-не-ллю-ббят...

– Да. Я застенчив и, представьте, застенчив как-то болезненно. Одна мысль о том, что мне могут засмеяться в лицо, обливает меня с ног до головы холодным потом.

– И..? – хихикнул фельетонист.

– Ну... и идешь себе прочь.

Все дружно расхохотались.

– А я хотел бы, – вздохнул Громов. – Хотел бы знать, что такое страсти, супружество, весь этот особый таинственный мир, скрытый от меня...

– Позвольте, – заволновался пивовар, жирный и необычайно кроткий человек с глазами навывкате. – Если вы хотите – я...

Он, грузно пыхтя, протискался между стульев и, подвалившись к Громову, таинственно зашептал ему что-то на ухо. Физиономия пивовара выражала сладостное и блаженное самоуглубление в тайны жизни. Громов серьезно усмехнулся и кивнул головой раза два. Но у пивовара, когда он отошел, в кротких масляных глазах изображалась полная огорошенность.

Художник сидел, все время склонив на бок черную, кудрявую голову, и в его покрасневшем от вина лице таилось вдохновенное глубокомыслие. Вдруг он встряхнулся, ударил рукой по колену и закричал:

– Меня убили. Ха-ха. Убили. Ну, ей богу же, я не вру... Женщины. Женщинами полон свет. Они везде. Они как воздух, как вода, везде, на улицах, площадях, в театрах, подвалах, кафе. В церквях, лугах и лесах. На крышах. На чердаках. На башнях. На колокольнях. Под ногами, над головой. И вы не знаете женщины?.. А... Чудеснейшего, любопытнейшего, святейшего, развратнейшего существа в мире вы не знали? А духи вы нюхали? Цветы целовали? В лесу гуляли? Наконец – ели, пили, спали? Так как же вы не знаете жен-щины..?

Он остановился, перевел дыхание и посмотрел на Громова, стараясь придать взгляду торжественную строгость, но это не удалось. Его пухлые, румяные губы расплывались в жизнерадостную улыбку, а глаза лукаво смеялись лукавыми блестками.

– Пойдите, – воскликнул доктор. – Это ненормальность, несправедливость. Как так. Да есть же, наконец, женщины... жрицы любви. Хе. Что вы, в самом деле...

Громов пожал плечами.

– Боюсь, – сказал он. – Ну, что вы будете делать.

– Да-а, – протянул фельетонист, ковыряя в зубах, – вы того... действительно незадачливый... Ну, а как... в теории-то... вы представляете... того...

– Д-да, конечно... но... Я как-то избегал вообще всякого общества и... Вообще, у меня большие пробелы в этом отношении...

– Слушайте, господа, – сказал доктор, воодушевляясь и подымая вверх пухлый, белый палец, – вот перед нами человек который... не смеется, а... плачет. Но, клянусь вам, в моей практике был такой случай...

Захлебываясь и горячась, он рассказал нам своим скрипучим, нервным голосом историю о том, как он заставил жениться одного человека, дав ему прочесть скабресный роман.

Рассказ то и дело прерывался громкими одобрительными возгласами. Но после этого фельетонисту тоже захотелось рассказать что-нибудь из этой области, и он, еле дав доктору кончить, пустился в необыкновенное фантастическое повествование о бесчисленных совращениях, романах, изменах во всех частях света.

Скоро заговорили все. Сочинялись небывалые истории, никем и никогда не слышанные анекдоты; упоминались имена несуществовавших женщин, сверхтрогательные идиллии и любовные объяснения, в которых рассказчик неизменно участвовал сам, соблазнял, похищал и покупал. Присутствие человека, никогда не знавшего женщины и, следовательно, завидующего всякому поцелую, полученному другим мужчиной, действовало прищипывающим образом. Каждый хотел, чтобы ему, именно ему, а не другому, завидовал Громов; чтобы его, именно его, рассказчика, женщины, рожденные фантазией в необычайном количестве, – казались желанными, прекрасными и доступными только тому, кто сочинил их.

Прошло немного времени, и пол, казалось, был сплошь усыпан осколками разбитых невинностей и супружеских честей. И только тогда, когда лакей пришел доложить, что столы готовы и нас, скромных отшельников, просят пожаловать – родник эротической поэзии иссяк. Забытый Громов стоял у камина и докуривал сигару.

В глазах его сверкало живейшее, искреннее любопытство.

– Так вот, батенька, – сказал доктор, подмигивая и тыча Громова в жилет указательным пальцем, – такое дело... Ну, идемте... Ну, идемте... А кстати, я представлю вас Нине Алексеевне... да вы ее знаете... Нет? Ба, простите, совсем забыл, что вы приезжий... Ну – это... знаете, я вам доложу... По секрету: три года назад хотел из-за нее стреляться... Как честный человек...

Все тронулись и, войдя в гостиную, увидели несколько новых, незнакомых лиц, а между ними – и женщин.

А когда навстречу Громову поднялась красавица в белом шелковом платье и крепко пожала его почтительно протянутую руку, Громов сказал, улыбаясь и смотря в сторону...

– Господа... позвольте представить... моя жена.

Я с некоторым любопытством посмотрел направо и налево. Там, где секунду назад стояли фигуры наших недавних собеседников, – виднелись окаменевшие, шире обыкновенного раскрытые рты.

И только учитель спросил, беспомощно двигая челюстями:

– Кк-ак..? Вв-а-шш-а жж-ена..?

Четвертый за всех

I

Кильдин, Крыга и Иванов сидели в кафе. Все они были давно знакомы, давно надоели друг другу, но тем не менее каждый вечер проводили вместе три-четыре часа, сходясь как бы случайно. На самом же деле каждый уже с утра, если не искал, то думал об остальных, забегал в ресторанчики, оглядывая ряды поднятых с бокалами рук, наконец попадал в кафе, здоровался, улыбался, и через минуту уже думал про себя, что говорить им троим не о чем.

Так и было. Но в этот раз Крыга пришел навеселе. От него пахло вином и бриллиантинном: он получил деньги. Обыкновенно неразговорчивый, хроникер разошелся. Он умел, когда хотел этого, оборвать анекдот на интереснейшем месте, прищуриться на шелковую юбку ночной бабочки, обвести чмокающих губами слушателей застывшим взглядом и расцвести снова, увлекая за собой в мир похотливого смешка и ужасающего простотой солдатского остроумия. Спор его был меток и зол, рассказы о пережитом – картинны, остроты принадлежали к числу тех, над которыми смеются, подумав.

Устав, он посмотрел в стороны. Из зеркала в зеркало металась фигуры проходящих людей, имеющих обманчивый вид сытой и благообразной толпы, цветы шляп женщин бросались в глаза более, чем неживые их лица; у телефона, поглядывая на часы, толпились смуглые молодые люди, а три ряда мраморных столиков держали в одной плоскости, как бы разрезая пополам, сидящую обкуренную толпу. Из булочной шел запах горячего хлеба и отпотевшего сахара.

– Крыга, а у тебя деньги есть? – сказал Иванов.

– Есть.

– Поедем!

– Куда?

– Да хоть бы на поплавок.

Иванов расточительным жестом бросил из жилетного кармана на стол рубль.

– Это тебе в долю. И напьемся.

Крыга почесал нос.

– Я бы поехал, – сказал он, – да мне нужно... Ах, вот что: кто эта дама? Смотри, пожалуйста: от голубой шляпы и розового лица кудри ее кажутся синими.

– Ты зубы заговариваешь, – нетерпеливо вздохнул Кильдин, – а здесь душно, выйдем на воздух. Человек, получите. Сколько? Чай – десять, верно, папиросы и лимонад – двадцать пять... а разве я кофе пил? Да, да, по-варшавски... да, да... это возьмите себе... Ну, вот и все.

– Человек, – с достоинством подхватил Иванов, – сколько с меня? Сельтерская с сиропом – пятнадцать, папиросы – десять... кулебяка? Кулебяка... Пятачок ваш.

Пока двое рассчитывались, Крыга смотрел в сторону. Злобная, тоскливая скука охватила его. Это кафе он знал десять лет, сотни вечеров судорожной, грошовой, ломаной жизни прошли здесь, между стаканом чая и папиросой, профессиональной улыбкой девушек и сосаньем набалдашника палки, и вдруг, как у школьника от затянувшегося урока, бросился в ноги зуд, нервное нетерпение и тревога тела, утомленного бесцельным сидением.

– Ну, идем, что ли, – вскакивая, сказал Крыга, – здесь, как в горячем тесте: липнешь и мокнешь.

Не зная еще по слабохарактерности, куда попадет: на иллюминированный поплавок к белой под утро реке, или домой, в тишину уснувшего здания, Крыга с Ивановым и Кильдиным вышел на улицу.

II

Шествие совершалось в молчании. Кильдин думал, что Крыга, уклоняющийся от поплавок, просто не понимает прелестей жизни. Иванов размышлял о делании шара клопштоссом³ через весь бильярд, о женщинах, знакомых и незнакомых, проходящих мимо и существующих в его воображении. Крыга скучал.

– Мухи дохнут, – сказал он, – изобретем что-нибудь.

– Все изобретено, – мрачно возразил Иванов.

– На поплавок надо идти, – с худо скрываемым раздражением произнес Кильдин.

Трамвай с шумом рассекал воздух. Еще видя невидное людям солнце, блестела адмиралтейская игла, городовые чинно подымали белые палки, и множество – среди всяких других – двигалось над тротуаром нежных лиц женщин с равнодушно смотрящими глазами, чистых в своей неизвестности, ярких и безответных.

Приятели шли, замедляя шаг; им некуда было торопиться, и они не знали, куда идут. Крыга почти с ненавистью взглянул на шагающего рядом Иванова и остановился.

– Куда идем? – сказал Крыга. – Мне что-то не по себе. Я, видимо, протрезвел. С души воротит. Что мы будем делать на поплавке? Выпьем графин водки? Общение душ устроим? Тайну неба похитим? Прекрасную незнакомку встретим? Графин, два графина, три графина, – хочешь ты сказать, Иванов... Допустим – три. Мы, черт его знает, – монстры какие-то. Нам всем вместе неполных сто лет, здоровья для Петербурга довольно, дураками тоже не назовешь, а ведь над нами любой богомолке заплакать не оскорбительно.

– Для разнообразия и я на эту тему поговорить люблю, – сказал, зевая, Кильдин, – да ведь все это не настоящее...

– Ты идиот, – перебил Иванов, – тут как-то в рассеянной толкучке этой ловишь по частям вечное. Раздражает – да, не удовлетворяет – да, а все-таки здесь ближе к себе, понимаешь, чувствуешь свою сущность.

– А вот что, – сказал Крыга, – выйдем из шаблона хоть раз, побродим в одиночку... Натее вам по пяти рублей, обойдите вы от зари полгорода: может, хоть вас автомобиль переедет, – все-таки интереснее.

– А что же! – лукаво, но горячо, в тон Крыге, произнес Иванов. – Сделаться на час искателем приключений! Давай деньги, дорожные расходы необходимы.

Кильдин, приободрившись, протянул руку.

– И мне, – сказал он. – Но ведь ты придумал интересную штуку, Крыга... Только знаешь что? Дай мне еще рубль, я тебе завтра отдам.

– Нет! – уже увлеченный случайной своей выдумкой, вскричал Крыга. – Ведь может же быть что-нибудь.

На миг каждый поверил этому, – тон голоса Крыги прозвучал детской верой в дракона. И каждому из них дракон был необходим, как воздух и хлеб; дракона же не было, лишь в зоологическом саду крылатое из картона туловище дышало горячей паклей, а Брунгильда⁴ Ляпкова держалась за хребет чудовища безопасней, чем за ременную петлю трамвая.

³ Клопштосс – название удара в игре на бильярде.

⁴ Дракон, Брунгильда – персонажи древнегерманского эпоса «Песнь о Нибелунгах».

Миг, как всякий миг, кончился скоро, оборвался на голубой вспышке проволоки; ни говорить, ни думать об этом более не хотелось; однако, еще будучи в плену выдумки, Крыга сказал:

– И я бродячую бессонницу делить буду. До завтра в кафе! Если б хоть одному из нас повезло!

Поговорив немного, все трое разошлись в разные стороны. Иванов, сжимая в кармане и в кулаке золотой, подошел к углу, с перехваченным радостью горлом купил двадцать пять штук папирос, взял под руку жизнерадостную брюнетку, позвал извозчика, сел и поехал.

Кильдин, бессознательно улыбаясь, вышел к Пассажу, понял, что жить радостно и легко, взял под руку задорно болтливую блондинку, позвал извозчика, сел и поехал.

Крыга сказал себе своими словами: «Ерунда пришла в голову: нет приключений, городок глух, нем и жесток» – остановил печальную рыженькую, раздумал, сказал: «Прощайте», позвал извозчика, сел и поехал спать.

Взвесив шансы на интерес, последуем мы за ним.

III

По дороге домой Крыга думал о прелести черных ночей юга, блаженстве темноты, когда, забывая свет, мирно отдыхает натруженное за день тело, а глаза спокойно, не вглядываясь, остаются открытыми.

Белый, без улыбки и блеска свет томил город глухим раздражением ночи, лишенной своего естественного лица – мрака. Извозчик сидел понурясь. Он спал, а просыпаясь, – зло дергал вожжами и бормотал что-то непонятное.

Наконец, он остановился, а Крыга, слезая у железных ворот дома, где жил, испытал ту небольшую радость суетливого горожанина, когда после коварных, но деловых, пустых, но нужных свиданий, посещений и встреч возвращается он домой, к постели и книге.

Щелкнув французским ключом, Крыга вошел в переднюю, а потом в комнату. Представляя, как Иванов и Кильдин обходят глухие набережные, мосты, заплатаанные вывесками переулки, где кошки с деловым видом обнюхивают тумбу, а женщины в нижних юбках, сжимая под накинутой шалью пустые бутылки, перебегают дорогу, Крыга невесело усмехнулся. Приятели думают о нем то же самое, а он – изменник, но результат – ясно – один. Те двое тоже придут домой, – дальше идти некуда.

В комнате было светло, как на рассвете. Крыга подошел к настезь открытому окну, куря папироску. Тихий лежал внизу двор, а впереди, чередуясь с зеленью берез и лип, тянулись хребты крыш. Золоченые купола церковей казались в отдалении туманным рисунком. Где-то стучала машина электрической станции.

«Хорош Петербург, – подумал Крыга, – люблю я этот чудесный город, сам не знаю за что. Может быть, потому – что он, как истинное сокровище, не знает и не ценит себя сам; это русский Париж, русская в нем душа, и весь он похож на то, как будто остановился живой человек с высоко поднятой головой, забродило в ней столько, что и сил нет сделать все сразу, дышит тяжело грудь; грустно и хорошо».

В этот момент с Невы, ухая в отдаленных улицах резкими вздохами, вылетел к окну крыши гибкий, поражающий даже привычное ухо странностью звука, пронзительный вопль сирены. Прошла минута, в течение которой Крыга старался согласовать бессознательно тихое свое настроение с тревожным криком реки, и вдруг за стеной слева, – так неожиданно, что журналист, не успев опомниться, вздрогнул и затрясся всем телом, – раздался долгий оглушительный вопль, точное подражание стальной глотке.

Вопль стих, возвратилась разбитая на мгновение вдребезги испуганная тишина, а Крыга еще стоял, как человек, смытый за борт, захлебывался испугом и вздрагивал. Сильное биение

сердца удерживало его на месте; взяв себя в руки, Крыга выбежал на цыпочках в коридор и, потянув соседнюю дверь, взглянул в щель. За спиной стула на столе лежал голый локоть. Тотчас же рука пошевелилась, стул отодвинулся; молодой, в одном нижнем белье, человек подкрался босиком к двери, остановился в двух шагах от нее и принялся, наклонив слегка голову, нервно тереть маленькие усы.

Крыга и он стояли друг против друга, лишь случайно не встречаясь глазами. Лицо неизвестного – так как, по-видимому, это был новый жилец, которого Крыга еще не видел, – лицо это выражало крайний предел загнанности и угнетения. Сильно блстели глаза; рот с опущенными углами сжимался и разжимался, словно в него попал волос, и человек движениями губ стремился удалить раздражающее постороннее тело.

– Да он повесится, – сказал Крыга, – надо войти туда. – И вызывающе постучал.

Неизвестный, выпрямившись, отбежал к столу, сел и, сунув руки между колен, уставился на дверь таким полным страха и тоски взглядом, как если бы сейчас должен был вкатиться локомотив. Не дожидаясь ответа, Крыга отворил дверь и вошел.

К его удивлению, сосед поднялся с изменившимся выражением лица, немного сконфуженного, но улыбающегося той улыбкой, когда человек знает, что ему скажут, Крыга, притворив дверь, сказал:

– Вы, пожалуйста, извините, но я подумал, что с вами случилось бог знает что... Я прямо не в состоянии был сидеть в комнате. Что такое? Меня зовут Крыга.

– Пафнутьев, – сказал молодой человек, – у меня бессонница, я в дезабилье⁵, прошу извинить.

– Мне показалось... – взволнованно начал Крыга, пристально, с немного жутким чувством смотря на Пафнутьева, – что это самое... вы... расстроены, вероятно?

Пафнутьев покорно и виновато улыбнулся, отводя взгляд. Сидел он, согнувшись, в такой позе, как если бы был разбит параличом, но не желал показывать этого.

– Вот не знаю. Не передашь. В этой сирене какое-то заразительное отчаяние.

Наступило молчание. Маленький растрепанный человек сидел перед Крыгой и улыбался.

– Вы откуда?

– Из Рязани, – сказал Пафнутьев, – я здесь три месяца.

– Учитесь?

– Да. Студент.

– А знакомые у вас есть?

– Нет.

– Как нет? – удивился Крыга. – Чтоб в Петербурге не завелись знакомые?

– Да нет же! – упрямо и сердито повторил Пафнутьев. – Нет никого. Я людей боюсь, – с неловкой искренностью прибавил он, – так вот сжимаешься, сжимаешься, да нет-нет, кто-нибудь и уязвит, и тогда одно отвращение.

– А родственники есть?

– Нет.

– Совсем нет?

– Совсем нет, – весело улыбаясь, подтвердил Пафнутьев.

– Вам надо лечиться, – серьезно сказал Крыга, – что же это, ведь пропадете так?

– Пропаду, – вдруг зло и глухо бросил Пафнутьев; вскочив, он быстро забегал по комнате, шлепая босыми ногами. – Да, нервы расстроены, денег нет! И черт их дери, пропаду, так пропаду... А зачем жить? Скучно, холодно... Холодно, – остановившись и подергивая, как от озноба, плечами, повторил он.

– Да вы идите, вам спать нужно, я уж не закричу.

⁵ В дезабилье (франц. deshabelle) – не вполне одет.

– Ах, милый, – сказал Крыга, – слушайте, я вам валерьянки дам. Хотите? Уснуть-то ведь нужно.

– Не надо мне валерьянки, – сказал Пафнутьев, забегал, суетясь руками по незастегнутому вороту рубашки, остановился и, посмотрев рассеянно на Крыгу, прибавил: – Валерьянки?.. А дайте, отлично.

Крыга, торопясь, вышел, плотно закрыв дверь. В полутьме коридора разбуженные криком и разговором жильцы высунулись из дверей, притаив дыхание; видны были только заспанные, обеспокоенные лица и руки, придерживающие дверь.

– Что там? – шепотом спросила курсистка с усиками.

– Да маленькое приключение, – сказал Крыга, – так, городская мелочь, шелуха жизни; человек пропадает – только и всего.

Курсистка сделала озабоченное, недоумевающее лицо.

– Что с ним, припадок?

– Нет, насморк. Я ему валерьянки дам.

Когда Крыга вошел снова, Пафнутьев, кутаясь в одеяло, сказал:

– Черт его знает, еще погонят отсюда.

– Зачем? – сказал Крыга. – Скажите, что во сне кошмар был. Полсотни накапайте. Уснете.

– Усну. Спасибо.

Крыга сунул ему графин и ушел спать. За стеной было тихо. – «Нет, теперь не уснешь, – собираясь раздеваться, сказал Крыга, – гвоздем засел в голове крик, весь дом насторожился после него. Так вот что...»

Он взял шляпу, вышел на улицу и, чувствуя с некоторым удовольствием, что есть законный предлог по случаю бессонницы выпить, исчез в ресторане.

IV

Франтоватый, выпавшийся Кильдин, увидев Крыгу, лениво взмахнул бровями, как бы говоря: «да, вчера пошалили, а впрочем, ничего особенного» – сосредоточенно поздоровался, корректно сел, сдвинув колени, высморкался и развалился на стуле, погрузив большие пальцы рук в верхние карманы жилета.

– Мало сегодня в кафе народа, – сказал Кильдин. – А где Иванов?

– Нет Иванова, – усмехнулся Крыга, – он придет, а ты расскажи.

– Что?

– А что вчера говорили.

Кильдин гордо вздохнул.

– О, есть приключения и приключения, – веско сказал он, – но ты, жестокий материалист, хочешь фактов.

– Факты, конечно, были, – серьезно, с завистливым, вытянутым лицом произнес Крыга, – я знаю все: ты встретил солнечную женщину, прелесть девической мировой души, и сказкой прошла ночь.

– Почти, – нагло сказал Кильдин, – но это все вне фактов, это особенное: улыбка, жест и полное соединение взглядами.

– Здравствуйте, – сказал, роняя стул, Иванов. – Я так торопился; если бы вы знали...

– Знаю, – подхватил Крыга, – улыбка, жест и полное соединение взглядами.

– Это о чем? – холодно спросил Иванов.

– Она была спелого золотистого цвета, – невозмутимо продолжал Крыга, – ее несло по течению вниз с нимбом над головой, ты спас ее, а потом снял носки и повесил их на Тучковом мосту; солнышко высушит.

– Я буду пить черный кофе, – сказал Иванов и нахмурился. – Но ты, Крыга... ты, кроме шуток, что вчера делал?

– Да все то же. – Крыга зевнул, говоря. – Удел тут один, братцы, – улыбка, жест и полное соединение взглядами.

Она

I

У него была всего одна молитва, только одна. Раньше он не молился совсем, даже тогда, когда жизнь вырывала из смятенной души крики бессилия и ярости. А теперь, сидя у открытого окна, вечером, когда город зажигает немые, бесчисленные огни, или на пароходной палубе, в час розового предрассветного тумана, или в купе вагона, скользя утомленным взглядом по бархату и позолоте отделки – он молился, молитвой заключая тревожный грохочущий день, полный тоски. Губы его шептали:

«Не знаю, верю ли я в тебя. Не знаю, есть ли ты. Я ничего не знаю, ничего. Но помоги мне найти ее. Ее, только ее. Я не обременю тебя просьбами и слезами о счастье. Я не трону ее, если она счастлива, и не покажусь ей. Но взглянуть на нее, раз, только раз, – дозвожь. Буду целовать грязь от ног ее. Всю бездну нежности моей и тоски разверну я перед глазами ее. Ты слышишь, господи? Отдай, верни мне ее, отдай!»

А ночь безмолвствовала, и фиакры с огненными глазами проносились мимо в щелканье копыт, и в жутком ночном веселье плясала, пьянея, улица. И пароход бежал в розовом тумане к огненному светилу, золотившему горизонт. И мерно громыхал железной броней поезд, стуча рельсами. И не было ответа молитве его.

Тогда он приходил в ярость и стучал ногами и плакал без рыданий, стиснув побледневшие губы. И снова, тоскуя, говорил с гневом и дрожью:

– Ты не слышишь? Слышишь ли ты? Отдай мне ее, отдай!

В молодости он топтал веру других и смеялся веселым, презрительным смехом над кумирами, бессильными, как создавшие их. А теперь творил в храме души своей божество, творил тщательно и ревниво, создавая кроткий, милосердный образ всемогущего существа. Из остатков детских воспоминаний, из минут умиления перед бесконечностью, рассыпанных в его жизни, из церковных крестов и напевов слагал он темный милосердный облик его и молился ему.

Миллионы людей шли мимо, и миллионы эти были не нужны ему. Он был чужой для них, они были для него – звук, число, название, пустое место. Один человек был ему нужен, один желанен, но не было того человека. Все многообразие лиц, походок, сердец и взглядов для него не существовало. Один взгляд был нужен ему, одно лицо, одно сердце, но не было того человека, той женщины.

Печальная ласка сумерек изо дня в день одевала его лицо с закрытыми глазами и голову, опущенную на руки. Вечерние тени толпились вокруг, смотрели и слушали мысли без слов, чувства без названия, образы без красок.

Открывались глаза человека, спрашивая темноту и образы, и мысли без слов толпились в душе его.

Тогда говорил он словами, прислушиваясь к своему голосу, но одиноко звучал его голос. А мысли без слов и образы опережали слова его и, клубом подкатывая к горлу, теснили дыхание. И тени сумерек слушали его жалобу, росли и темнели.

– Я один, родная, один, но где ты? Не знаю. Каждый день бегут мимо меня вагоны с освещенными окнами, люди видны в окнах, они поют, смеются или едят. Но тебя нет с ними, родная!

И пароходы, гиганты с бесчисленными глазами, пристают в гавани каждый день, там, где ослепительно горит электричество и движется плотная, черная толпа. Сотни людей идут по сходням, радуются и грустят, но тебя нет с ними, родная!

Грохочут улицы, вывески ресторанов сверкают, как диадемы, и катит людские волны безумный город. Молодые и старые, мужчины и женщины, школьники и проститутки, красавицы и нищие идут мимо, толкают меня и смотрят, но нет тебя с ними, родная!

Я ишу и хочу тебя, хочу ласки твоей, хочу счастья. Я уже не помню как смеешься ты. Я забыл запах твоих волос, игру губ. Я найду тебя. Я бегу за каждой женщиной, похожей на тебя, и, нагнав, проклиная ее. Жажда томит меня, и высохла моя грудь, но нет тебя. Отзовись же, найдись. Сядь на колени ко мне, щекой прижмись к моему лицу и смейся как раньше, золотом солнца, радостью жизни. Я укачаю, убаюкаю тебя на руках, распушу твои волосы и каждый отдельный волосок поцелую. Я спою тебе песенку, и ты уснешь.

Шли минуты, часы, и звонко бегал маятник, отбивая секунды в живой, мучительной тишине. А он все сидел, очарованный страданием, качаясь из стороны в сторону. И вот из страшной, черной глубины души кто-то, на блоках и цепях, начинал подымать груз невероятной тяжести. От усилий неведомого существа кровь прилиwała к вискам, стучала и говорила торопливым, безумным шепотом. А тоска металась, острыми крыльями била в сердце, и с каждым ударом крыла хотело крикнуть, застонать сердце, готовое лопнуть, как гуттаперчевый⁶ шар. А груз подымался, скрипя, все выше, и медленно прессовал грудь, выгоняя воздух из легких, и ворочался там острыми гранями.

Он сжимал руками голову и, с дрожью напрягая тело, гнал прочь нечеловеческую тяжесть. А груз – воспоминание – все рос, двигаясь, как лавина и звенел забытыми словами, розовым смехом, радостью смущенных ресниц.

Он кричал:

– Не хочу! Не надо!

Но каждый раз, обессиленный, снова и снова видел во весь рост то, что бывает однажды, что не повторится ни с ним, ни с другим, ни с кем, никогда...

II

В саду темно, сыро и хорошо. Три дня он не виделся с ней и теперь пришел трепещущий, довольный и робкий. Под их ногами хрустел песок, и казалось в темноте, что она улыбается, смеется над его любовью, видит ее и думает. От этого волнение еще больше мучило его, и тягостным становилось молчание.

Они сели: он отодвинулся от ее колен, боясь, что прикосновение взволнует его любовь и бессвязными, тяжелыми словами вырвется наружу. Тогда надо будет уйти. Кончится все, и нельзя больше будет видеть ее. Так думал он за пять минут перед самыми счастливыми минутами своей жизни.

– Я вчера ждала вас, – сказала девушка, – и третьего дня ждала, и сегодня. Но вы не приходили. Разве так поступают с друзьями?

Ласковое ожидание слышалось в ее голосе, а ему оно казалось насмешкой, и от этого горькое, обидное чувство мешало дышать. Поборов волнение, он грубо и раздражительно сказал ей:

– Зачем ждали. Разве не все равно вам?

В темноте он почувствовал, как лицо девушки побледнело и сделалось замкнутым от его грубости, как глубокими и печальными стали глаза. Помолчав немного, она сказала с трудом:

– Если вы... я не знаю. Если вам все равно – конечно... Пройдемтесь. Скучно сидеть.

⁶ Гуттаперчевый – из затвердевшего млечного сока некоторых деревьев, близкого по своим свойствам к каучуку.

Но уже жалость к себе, к ней, раскаяние и умиление перед своею любовью охватили его. Не зная сам, как – он взял ее руки – горячими и бесконечно милыми были маленькие, тонкие пальцы – и сказал, сперва мысленно, а потом вслух:

– Милая! Милая! Простите меня!

Настало молчание. Казалось, что ему не будет конца. Но уже близилось могучее биение радости. Играла ли в это время музыка, пел ли кто – он не помнит. Кажется, стало светло и тягостно-сладко. Она не отняла своих рук, и он сам благоговейно и осторожно выпустил ее пальцы. Стучало ли его сердце, пел ли кто – он не помнит.

И девушка – его возлюбленная, его радость, встала, и он – без слов, понимая каждое ее движение, пошел за ней, в ее комнату, и там долго, со слезами смотрел, смотрел на ее покрасневшее лицо, ставшее вдруг близким-близким, бесконечно простым и добрым. Она смеялась и говорила, а кружево на ее груди трепетало, как бабочка.

– Скажите мне: «Я люблю вас!»

Он повторял, стыдливо и смущенно:

– Я люблю вас! Люблю вас! Нет – тебя люблю!..

Она засмеялась, отвернувшись, а он смотрел на ее плечи, вздрагивающие от смеха, на край розового, маленького уха, обвитого русой прядкой волос. Как-то он подошел к ней, обнял сзади за плечи и шею и вздрогнул от прикосновения теплого, трепетного тела. Она крепко прижалась маленьким, круглым подбородком к его руке и глядела прямо перед собой, в стену, счастливыми, нервно-блестящими глазами. А он спросил:

– Можно мне обнять тебя?

Она засмеялась еще сильнее неслышным, коротеньким смехом. Засмеялась оттого, что он такой смешной: сперва обнял, а потом уже спросил позволения...

III

Так сидел он часами, но груз страшной тяжести висел в его душе, груз с бледным лицом и шутливо-ласковым взглядом. Тогда он вставал и шел в темные, извилистые закоулки города, где пьяное мерцание красных фонарей с разбитыми стеклами освещает грязные булыжники и тонет в блестящих, вонючих лужах. За столиками, где пируют матросы со своими возлюбленными и хриплый хохот заглушает ругательства и женский плач, садился и он, пил вино, смотрел и слушал, как страшный груз опускается ниже, а лицо девушки с русыми волосами тонет в клубах едкого табачного дыма.

Вверху медленно двигалась ночь, звезды описывали полукруг с востока на запад, и розовый рассвет придвигал сонное лицо свое к разбитым, подслеповатым окнам кабака. Говор вокруг становился тише, ниже опускались к столам опьяневшие тела, и лохматые, рыжие головы ложились на плечи друг. А его тело становилось чужим, и казалось ему, что голова живет отдельно от тела, бросая тупые крохи сознания в бледную полумглу.

Или он заходил в рестораны, где красивые, сверкающие зеркала неумолимо повторяли движения седого человека с молодым, загорелым лицом. На мраморных столиках белели девственно чистые скатерти, сверкая снежными изломами складок, румянец плодов алел в хрустальных вазах, и море яркого света дрожало и плыло в звуках бесшабашных мелодий огненными, острыми точками. Огромные, цветные шляпы женщин с нахальными улыбками колебались вокруг. А люди в черном целовали их руки, красные губы, полные плечи, вздрагивая и пьянея от удовольствия.

И снова сонный рассвет придвигал розовое лицо свое к матовым узорным окнам и восковыми, мертвенными тенями покрывал лица людей. В свете наступающего дня они казались призраками, обрывками сна, уродливыми и жалкими. Блестело последнее золото, последние посетители в смятых манишках, в шляпах, сдвинутых на затылок, расплачивались и уходили, а

он сидел, и пустым казался ему наступающий день, пустым и ненужным, как бутылки, стоящие на столе. Дыханием его было страдание, и молитвой была тоска его.

IV

С тех пор прошло пять лет.

Пять лет прошло с того дня, когда он в первый раз обнял ее и сказал: «Можно обнять тебя?» Пять лет.

Из крепости он вышел седой. Ни письма, ни привета он не получил за эти три года, ничего. Его содержали, как важного государственного преступника, и ни одно известие о ней не всколыхнуло его сердце. Людям, посадившим его в тюрьму, не было дела до его страданий; они служили отечеству.

О жизни своей в эти три года он всегда боялся вспоминать и с ужасом приговоренного к смерти вскакивал ночью с постели, когда снилось, что он снова в тюрьме. Помнил только, что с грустью мечтал о пытках тела, существовавших в доброе старое время, и жалел, что не может своим изорванным, окровавленным телом купить свидание с ней. Раньше это было можно, в то доброе старое время.

Когда его выпустили, оправданного, он стал искать ее. Огромность задачи не поставила его в тупик. Но следы ее исчезли, и никто не мог сказать ему, где она. В мире людей, среди которых он жил, связи и знакомства непрочны, как самая жизнь этих людей. Приходят одни, уходят, приходят другие и снова бесследно теряются в шуме и холоде жизни. Исчезают, как ночная роса в утренний час.

Но упорно, неотступно, как мученик – смерть, как ученый – великую идею, он искал ее, день за днем, месяц за месяцем, разъезжая по городам, за границей, везде, где мог ожидать встретить ее. Но не было того человека, той женщины.

Он спрашивал ее везде, в отелях, гостиницах, адресных столах я клубах, библиотеках и союзах. Кельнеры и гарсоны, половые и чичероне⁷ вежливо выслушивали его, когда, стараясь казаться хладнокровным и рассеянным, он спрашивал их, прислушиваясь к ответу всем телом, с тоскою и ужасом:

– Скажите, здесь не останавливалась Вера N? Из России? Она из России, русская.

В лице людей, слушавших его, мелькало озабоченное, деловитое выражение. Они бежали куда-то, рылись в больших книгах с золотыми обрезам, в кипах листков и журналов, и каждый раз, бегая глазами по его загорелому лицу и седым волосам, говорили виновато-ласковым голосом:

– Вера N. Нет, мсье. Госпожи с этой фамилией у нас не было.

Чем дальше спрашивал он, тем труднее становилось говорить чужим, равнодушным людям имя, священное для него. И начинало казаться, что тайна его – уже не тайна, что выползла она из сокровенных тайников и неслышной тенью стелется по земле, из уст в уста, из мозга в мозг, передавая его муку, его любовь. С ненавистью смотрел он тогда в зеркало на свое лицо, проклиная измученные, угрюмые черты, не доверяя им, как скряга слугам, берегущим сокровище. Если б лицо его стало каменной маской – ему было бы легче. Тогда ни один мускул, ни одно дрожание век не выдали бы тоски его. Все труднее было ему спрашивать о ней, и казалось, что смех дрожит в глазах людей, отвечавших ему, что знают они его тайну и носят из дома в дом, хватая грязными пальцами, – сокровище, его любовь и молитву.

Шло время, весна пестрела цветами, лето синело и ширилось, желтела плакучая осень, стыла и серебрилась зима. Но не было того человека, той женщины.

⁷ Чичероне (итал. *cicerone*) – гид, проводник, дающий объяснения туристам.

– Где ты? Где ты? Я распушу твои волосы, я слезами омою их. Слезами чистыми, как любовь, как тоске моя. Я буду целовать следы ног твоих...

V

Иногда он приводил к себе женщину и запирался с ней. Являлись слуги, ставили на стол все, что требовала она, часто голодная и нетрезвая, и скромно уходили, неслышно ступая мягкими, дрессированными шагами. Он пил, оглушая себя, женщина садилась против него, охорашиваясь и оголяя локти. Снимала шляпу с цветными, красивыми перьями, трепала его по щеке и говорила:

– Давай чокнемся. Ты, душечка, сердитый? Отчего так?

Но он молчал, а женщина смеялась преувеличенно громко, думая, что не нравится ему. Садилась к нему на колени и двигалась телом, стараясь зажечь кровь. Наливала ему и себе, он пил и слушал, как падают за окном дождевые капли. Иногда смотрел на нее и говорил:

– Зачем ты сняла шляпу? Она тебе к лицу.

– Я люблю рыбу под белым соусом, – говорила женщина. – Не надеть ли мне еще калоши, дружок? Я в комнате не ношу шляп.

Потом он брал ее за руки и долго молча целовал их. Она сидела тихо, но вдруг, вырываясь, вскрикивала обиженным, визгливым голосом:

– Ревет! Вот дурак!

– Не нужно... – бормотал он, качая головой, полной кошмарного бреда. – Не нужно. Разве ты – она?

Шли минуты, часы; женщина, пьянея, прижималась к нему все крепче и болтала без умолку, хохоча, вскидывая вверх толстые ноги в ажурных чулках. Он становился перед ней на колени и просил робким, умоляющим шепотом:

– Погладь меня... Ну, погладь же... Приласкай... Крепче, крепче обними меня. Вот так. Еще крепче. Милый я, – милый, да?..

Она заливалась звонким неудержимым хохотом, сверкая зубами, и тормошила его, крепко стискивая полными, нагими руками шею человека с загорелым лицом. Слова ее прыгали по комнате, отскакивая от его сознания, возбужденные, громкие:

– Ах ты, мой старичок! Бедняжка! Есть же такие на свете, господи!..

Кто-то гасил свет: темнота обнимала их, и в темноте он покрывал голое, горячее тело поцелуями, безумными и нежными, как счастье. Прижимался к ней. Терся лицом о лицо, трепеща от тоски и боли. Зарывал лицо в темные, пахучие волосы и думал, что это она, его возлюбленная, его радость.

Ночь шла, и ширилась, и закрывала стыдливым покровом опустошенную душу пьяного человека, и несла отдых красивой, продажной женщине. И снова розовый рассвет придвигал сонное лицо свое к занавескам, одевая мертвенным светом спящих людей.

День идет равнодушный и шумный. День за днем рождается и умирает, но нет ее. Но нет того человека, той женщины.

VI

Улицы становились пустынее, глуше; торопливо стучали шаги одиноких прохожих. Откуда-то и как будто со всех сторон двигался отдаленный грохот экипажей, катившихся на людных улицах. В окнах, блестящих скупым светом, скользили тени людей, и мир, скрытый стеклами, убогий внутри, с улицы казался таинственным и глубоким.

С тех пор, как он вышел из веселого и громадного подъезда, прошел, вероятно, час. Двигаясь во всевозможных направлениях, пересекая площади и пустыри, терпеливо проходя длин-

ные улицы и угрюмые переулки, он изредка останавливался, соображая, что сбился с дороги, затем опускал голову и, моментально забывая, где он, – шел снова, без определенного плана, без цели, погруженный в глубокое раздумье. Прохожие уступали ему дорогу, так как он не уступал ее никому, даже женщинам, потому что не видел их. Ноги устали, болели ступни и сгибы колен, он чувствовал, но не сознавал этого. Нищий, попросивший у него милостыни, получил в ответ:

– Не знаю. Я забыл часы дома.

Неожиданно, поворачивая за угол, в безмолвии и темноте вечерней улицы, он заметил кучку людей, толпившихся на ярко освещенном тротуаре, и тут же забыл о них. Через несколько шагов ему крикнули прямо в лицо хриплым и назойливым голосом:

– Приглашаю господина взять билет! Франк, франк, только один франк! Все новости Америки и Парижа!

Как человек, разбуженный внезапным, грубым толчком, он вздохнул, поднял голову и осмотрелся.

Прямо перед ним, на шестах, украшенных лентами и флагами, висела холщовая вывеска, освещенная электрическим светом. На ней было написано красными, затейливыми буквами, по белому фону: «Театр». Слева и справа этого слова чернели грубо нарисованные руки в манжетах, с указательными пальцами, протянутыми к буквам вывески. У широких, распахнутых дверей дощатого здания, испачканного обрывками афиш, висел лист белой бумаги. Он подошел и стал читать.

«Неожиданное приключение». «Добывание мрамора в Карраре». «Индейцы и Ков-Бои»...

Кругом теснились мальчишки и толкали его, засматривая в лицо. Усталость одолевала его. Человек, кривой на один глаз, в рыжем котелке и клетчатом кашне ходил по тротуару, мокрому от дождя, выкрикивая безразличным гортанным голосом:

– Один франк! Только один франк! Начинается! Спешите и удивляйтесь! Все новости, все новости! Франк!

Колокольчик в его пальцах неумоимо дребезжал мелким, бессильным звоном. Человек с загорелым лицом подошел к прилавку и купил билет у сонной, толстой женщины с напудренными плечами. Отодвинув драпировки, он сделал несколько шагов и сел на стул.

Вокруг сидело десять – двенадцать человек, преимущественно рабочие и мелкий торговый люд. Они сидели согнувшись, зевая и усиленно рассматривая разноцветные плакаты развешанные на стенах, обитых зеленой с красными полосами материей. Перед экраном сидел тапер, старик с красным носом и артистически-длинными серыми волосами. Его тщедушная фигура в изношенном сюртуке сотрясалась от ударов по клавишам, извлекая жалкие, прыгающие звуки танца.

За стеной еще раз продребезжал колокольчик и внезапно погас свет. Маленькая девочка с большими глазами громко и таинственно сказала матери:

– Мама, они хотят спать?

– Тсс! – сказала болезненная женщина, ее мать. – Сиди смирно.

– Петушки, – сказала девочка, увидя появившуюся на экране фабричную марку. – Мама, петушки?

Но петушки скрылись. Серая улица с серыми домами и серым небом встала перед глазами зрителей. Беззвучная, теневая, серая жизнь скользила по ней. Издалека двигались экипажи, конки, росли, делались огромными и пропадали.

Шли люди с корзинами, покупками, смеялись серыми улыбками, кивали, оглядывались. Бежали собаки и лаяли беззвучным лаем. Казалось, что внезапная глухота поразила зрителя. Двигается жизнь, но беззвучна она и мертва, как загробные тени.

Из кондитерской вышел мальчик и, весело подпрыгивая, направился с корзиной, полной пирогов, к поджидавшему его маленькому товарищу-трубочисту. Они идут, жадно уничтожая пироги заказчика, довольные и счастливые.

Едет автомобиль. Шофер не видит, что маленький сорванец уже примостился сзади между колес и весело болтает босыми ногами, вздымая пыль.

– Он поехал, – сказала девочка и тронула за плечо мать. – Мама, он поехал, тот мальчик!..

– Молчи, – сказала женщина. – А то придет трубочист и унесет тебя.

Идут люди, смотрят вслед уезжающему сорванцу и смеются. Женщина в большой соломенной шляпке с мешочком в руках остановилась, оглядывается и смотрит, как невидимый зрителю фотографический аппарат записывает биение жизни.

VII

Он вскочил, зарыдал, крикнул и бросился вперед, теряя сознание.

– Она!

Она – его солнце, его жизнь. Родная! Ее грустная, милая улыбка. Ее лицо, похудевшее, тонкое. Движения! Все!

Она – схваченная игрой света. Прямо в душу смотрят ее глаза, в его потрясенную, задышающуюся душу. Тень от шляпки упала на его лицо. Остановилась! Пошла!

Долгий, пугающий крик убил тишину и потряс стены театра. Он бросился, побежал к ней, уронив шляпу, расталкивая прохожих, побежал, задышавшись, с лицом, мокрым от слез. Десять, пятнадцать шагов расстояния...

– Вера! Вера!

Женщина обогнула решетку сада и остановилась, удивленная криком. Он догнал ее, сотрясаясь от плача, взял на руки, поднял как ребенка, поцеловал...

Она испугалась, побледнела... Узнала! Узнала. Прижалась к нему. Безумие счастья, жгучего, как нестерпимая боль, развернуло свои крылья, осенив их. Все утонуло, пропало. Только они – их двое...

Кто-то схватил сзади и грубо потянул в сторону. Он обернулся, слепым, пораженным взглядом обвел улицу и чужих перепуганных людей, отрывавших его от чуда, сокровища и молитвы.

Огненный снег завертелся перед глазами, и кто-то огромный, тяжелой гирей ударил в сердце. Стало темно. Два маленьких рыжих петуха выскочили по бокам, сверкнули красными, косыми глазами и исчезли. Поплыл тягучий, долгий звон, усилился, стих и замер.⁸

Когда потащили к выходу тело, ставшее вдруг таинственным и враждебным для всех этих живых, перепуганных людей, – маленький, горбоносый субъект с грязным галстуком и черными глазами сказал человеку, звонившему в колокольчик:

– Я заметил его еще раньше... Он не взял сдачи – вы подумайте – с пяти франков!..

⁸ В полной редакции отсутствуют строчки, которые есть в газетной публикации. После слов «Поплыл тягучий, долгий звон, усилился, стих и замер» следовало: «И долго, целый час после этого, не оживал в игре света экран маленького театра. А потом снова, мелко и бессильно, задрезжал колокольчик, вздрагивая и умирая тупым зовом в осенней мгле».

Зимняя сказка

Ты сейчас услышишь то, о чем спрашиваешь.
Редклиф

I

Ранний морозный вечер незаметно проступил в бледном небе желтой звездой. Улица стала неясная, снег – мглистый; скрипели, раскатываясь на поворотах, сани; редкая ярмарочная толпа сновала у балаганов: купцы-самоеды, мужики в малицах, бабы и девки; возле галантерейной лавки хмельной парень размахивал кумачовой рубахой; над калиткой кое-где болтались прибитые гвоздиками куньи и горностаевые шкурки: пушная торговля; мерзлые говяжьи туши, задрав ноги вверх, войском стояли на площади.

Ячевский, с целью занять три рубля, пришел в город из подгородной деревни, зашел в несколько квартир, но денег нигде не добился, остановился на углу, думая, к кому бы зайти еще, наконец, смерз, повернул в переулок и поднялся в верхний этаж гнилого деревянного дома. У обшарпанной двери, облизываясь, подобострастно мяукала кошка; Ячевский пустил ее, хотел войти сам, но женский голос сказал: – «Кто там, нельзя». Ячевский притворил дверь и громко, отчего слабый его голос стал похож на тонкий голос спросившей женщины, крикнул:

– Я это, Ячевский: можно?..

За дверью начался спор, женщина испуганно спрашивала: – «где же мне... где же мне», – а быстрый, злой голос мужчины твердил: – «ну, выйди, я тебя прошу... слышишь... надо же мне принимать где-нибудь». Слово «принимать» звучало мелочной болью и желанием произвести впечатление. Наконец, дверь открыл длинноволосый с лицом раскольника человек в синей, низко подпоясанной блузе, сказал быстро: «Входите», – и, отойдя к столу, прикрытому обрывком клеенки, напряженно остановился, пощипывая бородку. Ячевский увидел брошенные на грязный диван юбку, лоскутки, нитки, подумал: «нет мне сегодня денег», – и неловко сказал:

– Извините, Пестров, я помешал... супруга ваша работает, а я ведь так себе зашел, давно не был.

– А, да... ну, отлично, – бегая глазами, проговорил Пестров. Видно было, что визит этот почему-то неприятен и мучителен для него, но уйти вдруг Ячевский не решался; взяв стул, он сел и сгорбился.

– Вот как... живете вы, – медленно, чтобы сказать что-нибудь, произнес Ячевский и тут же подумал, что этого говорить не следовало – голые стены, груда книг на окне, сор и юбка кричали о нищете. О Пестрове было известно, что он где-то там пишет, уверяя, будто одна нашумевшая, подписанная псевдонимом книга принадлежит ему; над этим смеялись.

– Вы... выпьете чаю? – спросил Пестров; крикнул за перегородку: – Геня, самовар... впрочем, не надо. – Затем, обращаясь к Ячевскому, небрежно сказал: – Я забыл купить сахару... булочная, кажется, заперта... Нет.

– Я совсем, совсем не хочу чаю, – поспешно ответил Ячевский, – вы, пожалуйста, не беспокойтесь. – После этого ему стало вдруг нестерпимо тяжело; он растерялся и покраснел. – Нет... я вас спрошу лучше, как ваши работы, вы, вероятно, всегда заняты?

– Да, – словно обрадовавшись, сказал Пестров и сел, смотря в сторону. – Я очень занят.

За перегородкой что-то упало, резко звякнув и тем неожиданно пояснив Ячевскому, что в соседней комнате, затаившись, сидит человек.

– Не давай ножницы Мусе, – зло крикнул Пестров, – я говорил ведь! – Потом, видимо, возвращаясь мыслью к самовару и булочной, сказал, легко улыбаясь.

– Мои обстоятельства несколько стеснены, что редкость в моем положении, но я скоро получу гонорар.

Ячевский приятно улыбнулся и встал.

– Да, это хорошо, – сказал он, – ну... будьте здоровы, извините.

– Помилуйте, – шумно рванулся Пестров, крепко сжимая и трясая руку Ячевского, лицо же его было по-прежнему затаенно враждебным, – помилуйте, заходите... нет, непременно заходите, – закричал он на лестницу, в спину удаляющемуся Ячевскому.

Ячевский, не оборачиваясь, торопливо пробормотал:

– Хорошо, я... спасибо... – и вышел на улицу.

II

Придя домой, Ячевский чиркнул спичкой и увидел, что в комнате сидят двое: Гангулин за столом, положив голову на руки, а Кислицын возле окна. Спичка, догорев, погасла, и Ячевский, раздеваясь, сказал: – Отчего же вы не зажжете лампу?

– В ней, Казик, нет керосина, – зевнул Гангулин. – Мы шли мимо и забрели. Керосин имеешь?

– Нет. – Ячевский вспомнил о денежных своих неудачах и сразу пришел в дурное настроение. – Хозяева же легли спать, – прибавил он. – я мог бы занять у них. Нехорошо.

– Наплевать, – бросил Кислицын. – Физиономии наши друг другу известны.

В комнате было почти темно. Голубые от месяца стекла двойных рам цвели снежным узором; пахло табаком, угаром и сыростью. Ячевский сел на кровать, снял было висевшую у изголовья гитару, но повесил, не трогая струн, обратно; он был печален и зол.

– А вы как? Что нового? – сказал он.

– Ничего, собственно. «Пусто, одиноко сонное село», – продекламировал Гангулин, встал, сладко изогнулся, хрустя суставами, сел снова и вздохнул. – У Евтихия мальчик родился; щуплый, красный, еле живой; Евтихий в восторге.

– Ты видел?

– Нет, я заходил в лавку, там встретил акушерку, она принимала.

Наступило молчание. Гангулин думал, что в темноте сидеть не особенно приятно и весело, но лень было подняться, надевать пальто, идти по тридцатиградусному морозу в дальний конец города, а там, нащупав замок, попадать в скважину, зажигать лампу, раздеваться и все затем, чтобы очутиться в ночном молчании занесенной снегом избы, одному прислушиваясь к змеиному шипению керосина. Ясно представив это, он снова опустил голову на руки и затих. Кислицын же, отвернувшись к окну, вспоминал девушку, умершую два года тому назад; при жизни она казалась ему обыкновенным, не без досадных недостатков, существом, а теперь он ужасался этому и не понимал, как мог он не чувствовать ее совершенства, и душа его замкнуто болела тонким очарованием грусти, похоронившей горе.

Ячевский неохотно ждал продолжения уныло-беспредметного разговора; все подневольные жители города и пригородных деревень прочно, основательно надоели друг другу. Но гости молчали; изредка, за окном, судорожно скрипели полозья, слышался глухой топот; тараканы, пользуясь темнотой, суетливо шуршали в обоях. Молчание продолжалось довольно долго, делаясь утомительным; Ячевский сказал:

– Гангулин, вы спите?

– Нет. – Гангулин откинулся на спинку стула. – А так, просто, говорить не хочется. А разговор я послушал бы; даже не разговор, а чтобы вот сидел передо мной человек и говорил, а я бы слушал.

Ячевский лег на кровать, закрыл глаза и сказал:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.